

ОГОВОРКА

Есть такая, немалая, *вторичная* литература: литература о литературе; литература вокруг литературы; литература, рождённая литературой (если б не было подобной перед тем, так и эта б не родилась). Сам я, по профессии, такую почитать люблю, но ставлю значительно ниже литературы первичной. А написанного всего так много, а читать людям всё меньше досуга, что кажется: мемуары писать, да ещё литературные, — не совестно ли?

И уж никак не предполагал, что и сам, на 49-м году жизни, осмелюсь наскрести вот это что-то мемуарное. Но два обстоятельства сошлись и направили меня.

Одно — наша жестокая и трусливая потаённая, от которой все беды нашей страны. Мы не то чтоб открыто говорить и писать и друзьям рассказывать, что́ думаем и как истинно было дело, — мы и бумаге доверять боимся, ибо по-прежнему секира висит над каждой нашей шеей, гляди опустится. Сколько эта потаённость ещё продлится — не предсказать, может многих нас раньше того рассекут, и пропадёт с нами невысказанное.

Обстоятельство второе — что на шею мне петля уже два года как наложена, но не стянута, а наступающею весной я хочу головой легонько рвануть. Петля ли порвётся, шею ли сдушит, — предвидеть точно нельзя.

А тут как раз между двумя глыбами*, — одну откатил, перед второй робею, — выдался у меня маленький передых.

И я подумал, что, может быть, время пришло кое-что на всякий случай объяснить.

Апрель 1967

* Между «Архипелагом» и «Красным Колесом». — *Примеч. 1986.*

ПИСАТЕЛЬ-ПОДПОЛЬЩИК

То не диво, когда подпольщиками бывают революционеры. Диво — когда писатели.

У писателей, озабоченных правдой, жизнь и никогда проста не бывала, не бывает (и не будет!): одного донимали клеветой, другого дуэлью, того — разломом семейной жизни, того — разорением или испоконной невылазной нищетою, кого сумасшедшим домом, кого тюрьмой. А при полном благополучии, как у Льва Толстого, своя же совесть ещё горше расцарапает грудь изнутри.

Но всё-таки: не о том печься — мир бы тебя узнал, а наоборот, нырять в подполье, чтобы не дай Бог не узнал, — этот писательский удел родной наш, русский, русско-советский! Теперь установлено, что Радищев в последнюю часть жизни что-то важное писал и глубоко, и предусмотрительно таил: так глубоко, что мы и нынче не найдём и не узнаем. И Пушкин с остроумием зашифровывал 10-ю главу «Онегина», это знают все. Меньше знают, как долго занимался тайнописью Чаадаев: рукопись свою отдельными листиками он раскладывал в разных книгах своей большой библиотеки. Для лубянского обыска это, конечно, не упрятка: ведь как бы много ни было книг, всегда же можно и оперативников пригнать порядочно — так, чтобы каждую книгу взять за концы корешка и потрепать с терпением (не прячьте в книгах, друзья!). Но царские жандармы прохлопали: умер Чаадаев, а библиотека сохранилась до революций, и несоединённые, не известные никому листы томилась в ней. В 20-е годы они были обнаружены, разысканы, изучены, а в 30-е наконец и подготовлены к печати Д. И. Шаховским, — но тут Шаховского *посадили* (без возврата), а чаадаевские рукописи и по сегодня тайно хранятся в Пушкинском Доме: не разрешают их печатать из-за... *их реак-*

ционности! Так Чаадаев установил рекорд — уже 110 лет после смерти — замалчивания русского писателя. Вот уж написал так написал!

А потом времена пошли куда вольнее: русские писатели не писали больше *в стол*, а всё печатали, что хотели (и только критики и публицисты подбирали эзоповские выражения, да вскоре уже лепили и без них). И до такой степени они свободно писали и свободно раскачивали всю государственную постройку, что от русской-то литературы и выросли все те молодые, кто взненавидели царя и жандармов, пошли в революцию и сделали её.

Но, шагнув через порог ею же порождённых революций, литература быстро осеклась: она попала не в сверкающий поднебесный мир, а под потолок-укосину, и меж сближенных стен, всё более тесных. Очень быстро узнали советские писатели, что не всякая книга может *пройти*. А ещё лет через десяток узнали они, что гонораром за книгу может стать решётка и проволока. И опять писатели стали скрывать написанное, хоть и не dokonечно отчаяваясь увидеть при жизни свои книги в печати.

До ареста я тут многого не понимал. Неосмысленно тянул я в литературу, плохо зная, зачем это мне и зачем литературе. Изнывал лишь оттого, что трудно, мол, свежие темы находить для рассказов. Страшно подумать, что б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не посадили.

С ареста же, года за два тюремно-лагерной жизни, изнывая уже под горами тем, принял я как дыхание, понял как всё неоспоримое, что видят глаза: не только меня никто печатать не будет, но строчка единая мне обойдётся ценою в голову. Без сомнения, без раздвоения вступил я в удел: писать только для того, чтоб об этом обо всём не забылось, когда-нибудь известно стало потомкам. При жизни же моей даже представления такого, мечты такой не должно быть в груди — напечататься.

И — изжил я досужную мечту. И взамен была только уверенность, что не пропадёт моя работа, что на какие головы нацелена — те поразит, и кому невидимым струением посылается — те воспримут. С пожизненным молчанием я смирился как с пожизненной невозможностью освободить ноги от земной тяжести. И вещь за вещью кончая то в лагере, то в ссылке, то уже и реабилитированным, сперва стихи, потом пьесы, потом и прозу, я одно только лелеял: как сохранить их в тайне и с ними самого себя.

Для этого в лагере пришлось мне стихи заучивать наизусть — многие тысячи строк. Для того я придумывал чётки с метрической системой, а на пересылках наламывал спичек обломками и передвигал. Под конец лагерного срока, поверивши в силу памяти, я стал писать и заучивать диалоги в прозе, маненько — и сплошную прозу. Память вбирала! Шло. Но больше и больше уходило времени на ежемесячное повторение всего объёма заученного, — уже неделя в месяц.

Тут началась ссылка, и тотчас же в начале ссылки — проступили метастазы рака. Осенью 1953 очень было похоже, что я доживаю последние месяцы. В декабре подтвердили врачи, ссыльные ребята, что жить мне осталось не больше трёх недель.

Грозило погаснуть с моей головой и всё моё лагерное заучивание.

Это был страшный момент моей жизни: смерть на пороге освобождения и гибель всего написанного, всего смысла прожитого до тех пор. По особенностям советской почтовой цензуры никому вовне я не мог крикнуть, позвать: приезжайте, возьмите, спасите моё написанное! Да чужого человека и не позовёшь. Друзья — сами по лагерям. Мама — умерла. Жена — не дождалась, вышла за другого.

Эти последние обещанные врачами недели мне не избежать было работать в школе, но вечерами и ночами, бессонными от болей, я торопился мелко-мелко записывать, и скручивал листы по несколько в трубочки, а трубочки наталкивал в бутылку из-под шампанского, у неё горлышко широкое. Бутылку я закопал на своём огороде — и под Новый, 1954 год поехал умирать в Ташкент.

Однако я не умер. (При моей безнадёжно запущенной острозлокачественной опухоли это было Божье чудо, я никак иначе не понимал. Вся возвращённая мне жизнь с тех пор — не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель.) Тою весной в Кок-Тереке, оживающий, пьяный от возврата жизни (может быть, на 2–3 года только?), в угаре радости я написал «Республику труда». Эту я уже не пробовал и заучивать, это первая была вещь, над которой я узнал счастье: не сжигать отрывок за отрывком, едва знаешь наизусть; иметь неуничтоженным начало, пока не напишешь конец, и обозреть всю пьесу сразу; и переписать из редакции в редакцию; и править; и ещё переписать. Путь к это-

му открыл мне Николай Иванович Зубов (см. Пятое Дополнение, очерк 1): как хранить редакции рабочие и окончательную. Затем я и сам стал осваивать новое ремесло, сам учился делать *зачапки*, далёкие и близкие, где все бумаги мои, готовые и в работе, становились бы недоступны ни случайному вору, ни поверхностному ссыльному обыску. Мало было тридцати учебных часов в школе, классного руководства, одинокого кухонного хозяйства (из-за тайны своего писания я и жениться не мог); мало было самого подпольного писания, ещё надо было теперь учиться ремеслу — прятать написанное.

А за одним ремеслом потянулось другое: самому делать с рукописей микрофильмы (без единой электрической лампы и под солнцем, почти не уходящим в облака, — ловить короткую облачность). А микрофильмы потом — вделать в книжные обложки, двумя готовыми конвертами: Соединённые Штаты Америки, ферма Александры Львовны Толстой. Я никого более на Западе не знал, но уверен был, что дочь Толстого не уклонится помочь мне.

Мальчишкой читаешь про фронт или про подпольщиков и удивляешься: откуда такая смелость отчаянная берётся у людей? Кажется, сам бы никогда не выдержал. Так я думал в 30-е годы над Ремарком («Im Westen nichts neues»), а на фронт попал и убедился, что всё проще гораздо, и вживаешься постепенно, а в описаниях — куда страшнее, чем оно есть.

И в подполье если с бухты-барахты вступать, при красном фонаре и чёрных масках, да клятву какую-нибудь произносить или кровью расписываться, так наверно очень страшно. А человеку, который давным-давно выброшен из семейного уклада, не имеет основы (уже и охоты) для постройки внешней жизни, — тому зацепка за зацепкою, похоронки за похоронками, с кем-то знакомство, через него другое, там — условная фраза в письме или при явке, там — кличка, там — цепочка из нескольких человек, — просыпаешься однажды утром: батюшки, да ведь я давно подпольщик!

Горько, конечно, что не для революции надо спускаться в то подполье, а для простой художественной литературы.

Шли годы, я уже освободился из ссылки, переехал в Среднюю Россию, вернулась ко мне жена, я был реабилитирован и допущен в умеренно-благополучную, ничтожно-покорную жизнь —

но к подпольно-литературной изнанке её я так же привык, как к лицевой школьной стороне. Всякий вопрос: на какой редакции закончить работу, к какому сроку хорошо бы поспеть, сколько экземпляров отпечатать, какой размер страницы взять, как стеснить строки, на какой машинке, и куда потом экземпляры — все эти вопросы решались не дыханием непринуждённым писателя, которому только бы достроить произведение, наглядеться и отойти, — а ещё и вечно напряжёнными расчётами подпольщика: как и где это будет храниться, в чём будет перевозиться, и какие новые захоронки надо придумывать из-за того, что всё растёт и растёт объём написанного и перепечатанного.

Важней всего и был объём вещи, — не творческий объём в авторских листах, а объём в кубических сантиметрах. Тут вырвали меня ещё не испорченные глаза и от природы мелкий, как луковые семена, почерк; бумага тонкая, если удавалось привезти её из Москвы; полное уничтожение (всегда и только — сожжение) всех набросков, планов и промежуточных редакций; теснейшая, строчка к строчке (не в один интервал, два щелчка, но после каждой строчки я выключал сцепление и ещё сближал их от руки), без всяких полей и двусторонняя перепечатка; а по окончании перепечатки — сожжение и главного беловика рукописи тоже: один огонь я признавал надёжным ещё с первых литературных шагов в лагере. По этой программе пошёл и роман «В круге первом», и рассказ «Щ-854», и сценарий «Знают истину танки», не говоря о более ранних вещах. (До слёз было жалко уничтожать подлинник сценария, он особенным образом был написан. Но в один тревожный вечер пришлось его сжечь. Сильно облегчалось дело тем, что в рязанской квартире было печное отопление. При центральном сожжении гораздо хлопотливей.)

Усвоением уроков Зубова я очень гордился. В Рязани я придумал хранение в проигрывателе: внутри нашёл полость, а сам он так тяжёл, что на вес не обнаружишь добавки. И халтурную советскую недоделку верха шкафа использовал для двойной фанерной крыши.

Все эти предосторожности были, конечно, с запасом, но бережёного Бог бережёт. Статистически почти невероятно было, чтобы безо всякого внешнего повода ко мне на квартиру нагрянуло бы ЧКГБ, хоть я и бывший зэк: ведь миллионы их, бывших зэков! (А если бы нагрянули, то — смерть, ничто меньшее не жда-

ло меня при тогдашней безвестности и беззащитности, — как сможет убедиться читатель, прочтя когда-нибудь ну хотя бы исходный полный текст «Круга», 96 глав.) Однако это всё — пока соблюдается пословица: «Никто в лесу не знал бы дятла, если бы не свой носок».

Безопасность приходилось усилить всем образом жизни: в Рязани, куда я недавно переехал, не иметь вовсе никаких знакомых, приятелей, не принимать дома гостей и не ходить в гости — потому что нельзя же никому объяснить, что ни в месяц, ни в год, ни на праздники, ни в отпуск у человека не бывает свободного часа; нельзя дать вырваться из квартиры ни атому скрытому, нельзя впустить на миг ничего внимательного взгляда, — жена строго выдерживала такой режим, и я это очень ценил. На работе среди сослуживцев никогда не проявлять широты интересов, но всегда выказывать свою чуждость литературе. (Литературная «враждебная» деятельность ставилась мне в вину ещё по следственному делу — и по этому особому вопросу, остыл я или не остыл, могли за мной агенты наблюдать.) Наконец, на каждом жизненном шагу сталкиваясь с чванством, грубостью, дуростью и корыстью начальства всех ступеней и всех учреждений и иногда имея возможность меткой жалобой, решительным возражением что-то очистить или чего-то добиться — никогда себе этого не разрешать, не выделяться ни на плечо в сторону бунта, борьбы, быть образцовым советским гражданином, то есть всегда послушным любому помыканию, всегда довольным любой глупостью.

Понурая свинка глубок корень роет.

Это было очень нелегко! Как будто не кончилась ссылка, не кончился лагерь, как будто всё те же *номера* на мне, несколько не поднята голова, несколько не разогнута спина и каждый погон надо мною начальник. Всё негодование могло уkipеть только в очередную книгу, а этого тоже нельзя, потому что закон поэзии — быть выше своего гнева и воспринимать сущее с точки зрения вечности.

Но все эти дани я платил спокойно: мне работалось всё равно хорошо, плотно, даже при скудости свободного времени, даже без подлинной тишины. Мне дико было слушать, как объясняли по радио обезпеченные, досужие, именитые писатели: какие бывают способы сосредоточиться в начале рабочего дня, и как важно устранить все помехи, и как важно окружиться настраивающи-

ми предметами. А я ещё в лагере научился складывать стихи на ходу в конвоируемой колонне, в степи морозной, в литейном цеху и в гудящем бараке. Как солдат засыпает, едва присев на землю, как собаке в мороз вместо печи служит своекожная шерсть, так и я был естественно приспособлен писать всюду. И хотя теперь на воле (закон сжатия и разжатия человеческой души!) я стал попривередливее, мешало мне и радио, и разговоры, — но даже под постоянный рёв грузовиков, наезжающих на наше рязанское окно, я одолел неведомую мне манеру киносценария. Лишь бы выдался свободный часик-два подряд! Обминул меня Бог творческими кризисами, приступами отчаяния и бесплодия.

Очень устойчивое, и даже радостное, и даже торжествующее настроение было у меня все эти годы подпольного писания — пять лет лагеря до моей болезни и семь лет ссылки и воли, «второй жизни» после удивительного выздоровления. Существовавшая и трубившая литература, её десяток толстых журналов, две литературные газеты, её безчисленные сборники, и отдельные романы, и собрания сочинений, и ежегодные премии, и натужные радиоинсценировки — раз и навсегда были признаны мною настоящими, и я не терял времени и не раздражался за ними следить: я заранее знал, что в них не может быть ничего достойного. Не потому, чтобы там не могло зародиться талантов, — наверное, они были там, но там же и гибли. Ибо *не то* у них было поле, по которому они сеяли: знал я, что по полю тому ничего вырасти не может. Едва только вступая в литературу, все они — и социальные романисты, и патетические драматурги, и поэты общественные, и уж тем более публицисты и критики, — все они соглашались о всяком предмете и деле не говорить главной правды, той, которая людям в очи лезет и без литературы. Эта клятва воздержания от правды называлась *соцреализмом*. И даже поэты любовные, и даже лирики, для безопасности ушедшие в природу или в изящную романтику, все они были обречённо-ущербны за свою несмелость коснуться главной правды.

И ещё с тем убеждением прожил я годы подпольного писательства, что я не один такой сдержанный и хитрый. Что десятков несколько нас таких — замкнутых, упорных одиночек, рассыпанных по Руси, и каждый пишет по чести и совести то, что знает о нашем времени и что есть главная правда, — составляют её не только тюрьмы, расстрелы, лагеря и ссылки, хотя совсем

их обойдя, тоже главной правды не выпишешь. Несколько десятков нас таких, и всем дышать нелегко, но до времени никак нельзя нам открыться даже друг другу. А вот придёт пора — и все мы разом выступим из глубины моря, как Тридцать Три богатыря, — и так восстановится великая наша литература, которую мы спихнули на морское дно.

И третье было убеждение: что это лишь посмертный символ будет, как мы, шлемоблещущая рать, подыматься будем из моря. Что это будут лишь наши книги, сохранённые верностью и хитростью друзей, а не сами мы, не наши тела: сами мы прежде того умрём. Я всё ещё не верил, что сотрясение общества сможет вызвать и начать литература (хотя не русская ли история это нам уже показала?!). Я думал, что вздрогнет и даже обновится общество от других причин, так появится щель, пролом свободы, и туда-то сразу двинется наша подпольная литература — объяснить потерянными и смятенными умам: почему всё это непременно должно было так случиться и как это с 1917 года вьётся и вяжется.

Но вот прошли года — и к тому, кажется, склонилось, что ошибся я по всем трём своим убеждённостиам.

Не такое уж бесплодное оказалось поле литературы. Как ни выжигали в нём всё, что даёт питание и влагу живому, а живое всё-таки выросло. Можно ли не признать за живое и «Тёркина», и «Тёркина на том свете», и крутолучинских мужиков Зальгина? Как не признать живыми имена Шукшина, Можаяева, Тендрякова, Белова, Астафьева да и Солоухина? И Максимов. И Владимов. И какой же сильный и добротный был бы Ю. Казаков, если бы не прятался от главной правды? Я не перечисляю всех имён, сюда это не идёт. А ведь есть ещё — смелые молодые поэты. Вообще: союз писателей, не принявший когда-то Цветаеву, проклявший Замятина, травивший Булгакова, отдавший на смерть Мандельштама, Павла Васильева, Пильняка, Артёма Весёлого, исторгнувший Ахматову и Пастернака, этот прожжённый союз представлялся мне из подполья совершенным Содомом и Гоморрой, теми ларёшниками и менялами, захлапившими и осквернившими храм, чьи столики надо опрокидывать, а самих бичом изгонять на внешние ступени. Удивлён же я и очень рад своей ошибке.

Ошибся я и во втором предвидении, но уже на беду: хитрых таких, и упорных таких — и счастливых таких! — оказалось со-

всем мало. Целая литература из нас никак уже не получится, работала чекистская метла железнее, чем я думал. Сколько светлых умов и даже, может быть, гениев — втёрты в землю без следа, без концов, без отдачи. (Или они ещё упорнее и хитрее нас? — и даже сегодня пишут безмолвно и не высовываются, зная, что час Свободы не достигнут? Допускаю. Потому что и обо мне бы кто-нибудь рассказал в секции прозы годиком раньше — ведь не поверили ж бы?)

Варлам Шаламов раскрыл листочки по самой ранней весне: уже XX съезду он поверил, и пустил свои стихи первыми ранними самиздатскими тропами уже тогда. Я прочёл их летом 1956 и задрожал: вот он, брат! из тайных братьев, о которых я знал, не сомневался. Была ниточка и мне ему тут же открыться, но оказался я недоверчивее его, да и много ещё было у меня не написано тогда, да и здоровье и возраст позволяли терпеть, — и я смолчал, продолжал писать.

Ошибся я и в третьем своём убеждении: гораздо раньше, ещё при нашей жизни, начался наш первый выход из бездны тёмных вод. Мне пришлось дожить до этого счастья — высунуть голову и первые камешки швырнуть в тупую лбину Голиафа. Лоб оставался цел, отскакивали камешки, но, упав на землю, зацветали разрыв-травой, и встречали их ликованием или ненавистью, никто не проходил просто так.

А дальше, наоборот, замедлилось — потянулось как протяжная холодная весна. Стала петлями, петлями закидываться история, чтобы каждую петлю обхватить и задушить побольше шей. И так всё пошло неохотно (да так и надо было ждать), что сейчас и выбора у нас не осталось, и придумать ничего не придумаешь, как в этот лоб непроимчивый швырнуть последние камешки из последних силёнок.

Да, да, конечно, кто же не знает: не проткнуть лозою железобетонных башенных стен. Да вот догадка: может, они на рогоже нарисованы?

* * *

Двенадцать лет я спокойно писал и писал. Лишь на тринадцатом дрогнул. Это было лето 1960 года. От написанных многих вещей — и при полной их безвыходности, я стал ощущать пе-

реполнение, потерял лёгкость замысла и движения. В литературном подполье мне стало не хватать воздуха.

Сильное преимущество подпольного писателя — в свободе его пера: он не держит в воображении ни цензоров, ни редакторов, ничто не стоит против него, кроме материала, ничто не реет над ним, кроме истины. Но есть в его положении и постоянный ущерб: нехватка читателей, и особенно литературно-изощёренных, требовательных. Ведь своих немногих читателей (у меня их было меньше десятка, главным образом бывших эков, да и то никому из них не удалось прочесть все вещи, — ведь живём в разных городах, ни у кого нет ни лишних дней, ни лишних средств для поездок, ни лишних комнат для гощения), своих читателей писатель-подпольщик выбирает совсем по другим признакам: политической надёжности и умению молчать. Эти два качества редко соседствуют с тонким художественным вкусом. Итак, жёсткой художественной критики со знанием современных литературных норм писатель-подпольщик не получает. А оказывается, что эта критика, трезвая топографическая привязка написанного в эстетическом пространстве, — очень нужна, каждому писателю нужна, хоть в пять лет раз, хоть в десять лет разочек. Оказывается, пушкинский совет:

«Ты им доволен ли, взыскательный художник?» —

хотя и очень верен, но не до самого полна. Десять и двенадцать лет пиша в глухом одиночестве, незаметно распоясываешься, начинаешь прощать себе, да не замечать просто: то слишком резкой тирады; то пафосного вскрика; то пошловатой традиционной связки в том месте, где более верного крепления не нашёл.

Позже, когда я из подполья высунулся и *облегчал* свои вещи для наружного мира, облегчал от того, чего соотечественникам ещё никак на первых порах не принять, я с удивлением обнаружил, что от смягчения резкостей вещь только выигрывает и даже усиляется в воздействии; и те места стал обнаруживать, где не замечал раньше, как я себе поблажал: вместо кирпича целого, огнеупорного, уставлял надбитый и крохкий. Уже от первого касания с профессиональной литературной средой я почувствовал, что надо подтягиваться.

Из-за полного своего невежества я особенного маху дал в пьесах. Когда стал писать пьесы в лагере, потом в ссылке, я держал

СОДЕРЖАНИЕ

Оговорка	5
Писатель-подпольщик	6
Обнаруживаясь	22
На поверхности	53
Подранок	136

ПЕРВОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

(весна — осень 1967)

Петля пополам	190
---------------------	-----

ВТОРОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

(ноябрь 1967 — лето 1970)

Прорвало	216
Душат	251

ТРЕТЬЕ ДОПОЛНЕНИЕ

(лето 1970 — осень 1973)

Нобелиана	308
Встречный бой	353

ЧЕТВЁРТОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

(январь — февраль 1974)

Пришло молодцу к концу	397
------------------------------	-----

ПЯТОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

НЕВИДИМКИ

1. Николай Иванович Зубов	461
2. Николай Иванович Кобозев	477
3. Вениамин Львович и Сусанна Лазаревна Теуши	481

СОДЕРЖАНИЕ

4. Эстонцы	491
5. Елизавета Денисовна Вороньянская	505
6. Наталья Мильевна Аничкова и Надя Левитская	521
7. Мира Геннадьевна Петрова	530
8. Елена Цезаревна Чуковская	536
9. Наталья Ивановна Столярова и Александр Александрович Угримов	556
10. Черета в тени	581
11. Новая сеть	602
12. Опорный треугольник	619
13. Иностранцы	639
14. Стреля «Тихого Дона»	659

ПРИЛОЖЕНИЯ

	(*)	
1. Интервью Седзе Комото, 15.11.1966	(178)	674
2. Письмо IV Всесоюзному Съезду Союза Советских Писателей, 16.5.1967	(189)	676
3. В Секретариат Правления Союза Писателей СССР, 12.9.1967	(206)	681
4. Изложение заседания Секретариата Союза Писателей СССР, 22.9.1967	(209, 216)	682
5. Воронков – А. Солженицыну, 25.11.1967	(220)	699
6. В Секретариат Союза Писателей СССР, 1.12.1967	(220)	700
7. Члену Союза Писателей СССР, 16.4.1968	(230)	701
8. В Секретариат СП СССР, 18.4.1968	(234)	702
9. В редакции «Монд», «Унита», «Литгазеты», 25.4.1968	(235)	703
10. Ответ поздравителям. В «Литературную газету», 12.12.1968	(250)	704
11. В Президиум Московской городской коллегии адвокатов, 7.5.1969	(278)	704
12. Изложение заседания Рязанской писательской организации, 4.11.1969	(285)	705
13. Открытое письмо Секретариату Союза Писателей РСФСР, 12.11.1969	(290)	714
14. «Вот как мы живём», 15.6.1970	(317)	716

(*) Страница текста, содержащая ссылку на приложение.

СОДЕРЖАНИЕ

15. М. А. Суслову, 14.10.1970	(320)	717
16. Королевской Шведской Академии, Нобелевскому Фонду, 27.11.1970	(323)	718
17. Вместо приветственного слова на банкете в Стокгольме 10.12.1970	(326)	719
18. Карлу Рагнару Гирову (Шведская Академия), Нильсу К. Столе (Нобелевский Фонд), 21.1.1971	(329)	719
19. Открытое письмо министру Госбезопасности СССР Андропову, 13.8.1971	(340)	720
20. Председателю Совета Министров СССР А. Н. Косыгину, 13.8.1971	(340)	722
21. Поминальное слово о Твардовском, 27.12.1971	(344)	722
22. К. Р. Гирову, Н. К. Столе, 22.10.1971 К. Р. Гиров — А. Солженицыну, 22.11.1971	(346)	723
23. К. Р. Гирову, 4.12.1971	(346)	725
24. Интервью газетам «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост», 30.3.1972	(348)	727
25. Заявление при отмене Нобелевской церемонии, 8.4.1972	(350)	737
26. В КГБ СССР, 2.7.1973	(358)	738
27. Министру внутренних дел СССР Щёлокову, 21.8.1973	(362)	738
28. Из интервью агентству «Ассошиэйтед Пресс» и газете «Монд», 23.8.1973	(363)	739
29. Экспедитору КГБ, 31.8.1973	(364)	744
30. В редакцию «Литгазеты», 28.9.1973	(365)	744
31. Извещение о взятии «Архипелага ГУЛАГа», 5.9.1973	(366)	744
32. На титуле самиздатского издания; сентябрь 1973	(375)	745
33. А. Д. Сахарову, 28.10.1973	(378)	745
34. А. Д. Сахарову, 16.9.1973	(393)	746
35. Заявление для печати, 14.1.1974	(405)	747
36. Заявление для печати, 18.1.1974	(407)	747
37. Интервью журналу «Тайм», 19.1.1974	(407)	749
38. Л. Чуковская. «Прорыв немоты», 4.2.1974	(409)	751
39. Заявление для печати, 2.2.1974	(409)	753
40. Повестка Прокуратуры СССР, 8.2.1974	(411)	755

СОДЕРЖАНИЕ

41. Прокуратуре СССР, в ответ на её повторный вызов, 11.2.1974	(413)	755
42. «На случай ареста»	(439)	756
43. Л. Регельсон. Из письма Правительству СССР по поводу изгнания Солженицына, 17.2.1974	(459)	756
44. А. А. Угримов. Запись допроса на Лубянке.	(577, 580)	757
45. Н. Столярова — А. Солженицыну, 29.10.1977	(579)	763
46. Б. Иванов. «Москва — Ростов, или КГБ против Солженицына»	(339, 580)	765
Именной указатель		776
От редактора		824

Солженицын А.

С 60 Бодался телёнок с дубом : Очерки литературной жизни / Александр Солженицын. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 832 с. + вкл. (56 с.) — (Русская литература. Большие книги).

ISBN 978-5-389-21501-6

Александр Исаевич Солженицын — русский писатель, публицист, общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе («За нравственную силу, с которой он продолжил традиции великой русской литературы», 1970), лауреат Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности (2006), академик Российской академии наук.

В мемуарной книге «Бодался телёнок с дубом» разворачивается увлекательная история борьбы за свободу творческого самовыражения. Выпукло нарисована литературная жизнь России середины прошлого столетия, в декорациях которой и создавались знаменитые произведения («Один день Ивана Денисовича», «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ»), и рассказано о долгом пути, который пришлось пройти, чтобы эти тексты увидели свет.

Настоящее издание представляет самую полную редакцию текста, включает все дополнения, созданные автором на протяжении многих лет, а также многочисленные фотографические материалы и аннотированный именной указатель.

УДК 82

ББК 83.3(2Рос-Рус)6

Литературно-художественное издание

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН

БОДАЛСЯ ТЕЛЁНОК
С ДУБОМ

Очерки литературной жизни

Ответственный редактор Кирилл Красник
Редактор Наталия Солженицына
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Обработка фотографий Дмитрия Кабакова
Компьютерная вёрстка Михаила Львова
Корректоры Дмитрий Капитонов, Ольга Золотова
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 12.09.2022. Формат издания 60 × 90 ¹/₁₆.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 55,5 (вкл. вклейку).
Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



Y-ARL-30451-01-R